

Мария Майофис

(Амхерст-Колледж)

## Пять фрагментов о С.Л.К.

### 1

Начало сентября 1993 года. Нам, только что поступившим в университет первокурсникам историко-филологического факультета (мы были его вторым набором), предложено прослушать целую серию лекций в рамках «ориентационной недели». Поскольку всем слушателям предстоит выбрать в ближайшие дни страну специализации, то профессора, занимающиеся культурами этих стран, прочитают нам по одной вводной лекции, которая, как предполагается, поможет нам принять взвешенное решение. Честно говоря, я не запомнила ни одной лекции из тех, которые нам тогда прочитали, кроме одной. Эта лекция была посвящена культуре Франции, и читал ее Сергей Леонидович Козлов (далее — С.Л. или С.Л.К.).

Козлов начал лекцию со знаменитого стихотворения Владислава Ходасевича «Я родился в Москве...» (1923) и попросил нас угадать, что за «восемь томиков» Ходасевич (точнее, его лирический герой) увозил в эмиграцию. Мы, конечно же, угадали. Потом С.Л. предложил нам представить себе немецкого или британского эмигранта — смог ли бы он увезти свою родину в каком-то компактном собрании сочинений? Мы назвали Гёте и Шекспира. «А вот с эмигрантом французским, — сказал С.Л., — ничего подобного бы не вышло. Он затруднился бы сказать, к какой фигуре в литературе можно было бы свести всю Францию». На этой идее «несводимости» и разновекторности французской культуры С.Л. построил всю свою вступительную лекцию. Желающих выбрать французскую специализацию сильно прибавилось. Но главное, с этого момента многие из нас решили, что будут стараться как можно чаще попадать на лекции С.Л.

В этом эпизоде отразилось ключевое качество С.Л.-филолога — и в его преподавательской, и в исследовательской и переводческой ипостасях: напряженное внимание не только к тому, что говорится и пишется, но и к тому как. Здесь равнозначными оказывались и логическая конструкция, и риторика, и стиль.

С.Л. обладал уникальной способностью — намеренно не называю ее даром, потому что она была результатом его упорной систематической работы над собой, — легко, понятно и доступно формулировать ключевые особенности того явления и проблемы, которые он хотел сделать видимыми и понятными своим слушателям и читателям. Чаще всего такому формулированию предшествовала кропотливая работа и с первичными источниками, и с научными трудами, этим источникам посвященными. Потом начинался процесс, который я назвала бы интеллектуальной дистилляцией: благодаря какой-то особой «перегонке», которую только С.Л. умел осуществлять, разрозненные факты и разнородные концепции вдруг почти магическим образом не просто складывались в интеллигibleльную схему, но начинали выглядеть в глазах слушателей и читателей закономерными, непротиворечивыми и как будто естественным образом вытекающими из того, что этот читатель/слушатель раньше слышал, читал или знал.

Очень хорошо помню лекцию С.Л. о том, как в романтическую эпоху (прежде всего в раннем немецком романтизме) ученики часто «уводили» жен и возлюбленных у учителей или, по крайней мере, сильно осложняли жизнь всем окружающим — влюбленностью и привязанностью к этим женщинам. Через анализ этих эпизодов С.Л. дал нам возможность увидеть ключевые черты романтической культуры и ее влияние на микросоциальные отношения. Он сразу же убедил нас в том, что эпизоды этих любовных увлечений относятся не только к истории частной жизни, но являются частью истории литературы и что они были естественным следствием развития модели отношений «учитель — ученик».

Если память мне не изменяет, он не использовал тогда понятие миметического желания и легко обошелся тем концептуальным аппаратом, который и нам, третьекурсникам, был уже доступен.

Еще один важный аспект внимания С.Л. к интеллигibility и увлекательности собственного высказывания: для Козлова во всем, что он делал как преподаватель, популяризатор и оригинальный исследователь, был особенно важен интеллектуальный сюжет. Проще всего было бы построить такой сюжет в самом простом его воплощении: «детективного расследования» загадки, сформулированной в начале рассказа. Тут была возможность ориентироваться на самые разные образцы: от Ираклия Андроникова или Юрия Лотмана до Умберто Эко или Карло Гинзбурга.

Многие лекции из первого прослушанного мною осенью 1993 года курса в исполнении С.Л. — «Русская классика в западноевропейских параллелях» — часто следовали этой модели. Но дальше, по моим воспоминаниям, он использовал ее все реже и реже. А значит, как преподаватель и истолковательставил себе гораздо более амбициозные задачи, ведь без детективного драйвера простроить интеллектуальный сюжет что лекции, что статьи гораздо сложнее. Это означает, что идея или концепция,ложенная в основу лекции, должна быть достаточно яркой, оригинальной и запоминающейся, чтобы захватить слушателя или читателя самим своим содержанием, специфическим интеллектуальным поворотом, теми словами и образами, с помощью которых формулировался вопрос и выдвигались версии возможных ответов.

В текстах С.Л. — устных и письменных — необыкновенно притягательной была сама возможность быстрого и в то же время обоснованного перехода от драматических человеческих судеб к общим закономерностям развития культуры. Эти переходы обнажали своеобразную «трехуровневую схему», на которой были основан и его историко-филологический анализ, и возникавшие по его итогам нарративы. Та же схема-модель лежит и в основе позднейших статей С.Л. по истории литературы, интеллектуальной истории и истории науки (включая и выдающуюся монографию «Имплантация»). Попробую коротко эту модель описать.

Для С.Л. история культуры и гуманитарных и социальных наук была историей живых людей с их специфическими деталями биографии, эмоциями и реакциями, привязанностями и фобиями (вспомним, как много об этом он говорит, реконструируя семантику метафоры поезда у Макса Вебера<sup>1</sup>). Этот «человеческий фактор» требует от исследователя не только внимательного чтения

1 Козлов С.Л. Крушение поезда: транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 7—60.

и комментария текстов. Необходимо предпринять специальное усилие, которое помогло бы представить себе того или иного автора не как «окаменевшую величину», а как живого человека с собственным чувством пути, со свойственными ему ошибками, aberrациями восприятия и памяти и в то же время — и это было всегда для С.Л. залогом будущего понимания — со своими социальными и интеллектуальными идеалами.

Но С.Л. в то же время показывал, как быстро и необратимо этот персональный опыт обрастает культурным наростом, вписывается в существующие имажинации и силовые поля культуры, а потом — как он, уже став социальным, вступает в диалог с другими существующими в культуре версиями и концепциями.

Но за двумя этими уровнями был и третий, демонстрировавший интеллектуальную и дисциплинарную генеалогию С.Л. или, точнее, его филологический бэкграунд. Для него всегда важно, если не сказать — неотменимо важно, что и тот, и другой уровни будут оставлять следы в текстах и изображениях, — и вот здесь и начиналась для него «наша работа».

## 2

Проект, который С.Л. последовательно реализовывал на страницах НЛО с первого же номера 1992 года и по меньшей мере до своего ухода с поста руководителя отдела теории в начале 2002-го, лучше всего описывается термином, который сам С.Л. позже использовал для описания реалий другой страны и другой эпохи — *имплантация*<sup>2</sup>. Его монографию 2020 года, которая так и названа<sup>3</sup>, — нужно и важно прочитать как исследование, написанное из позиции многолетнего личного опыта разработки стратегий интеллектуальной имплантации и их смелого осуществления. Если помнить о том, чем планомерно занимался С.Л. с начала 1990-х годов, выбор им темы для монографии (если судить по предисловию, он начал работать над ней немедленно после того, как закончил работу в НЛО) был далеко не случайным. Ему явно интересно было рассмотреть и описать предшествующий опыт трудных, но успешных имплантаций в гуманитарных науках.

Сам С.Л. определит имплантацию как «опыт внедрения новой культурной практики в совершенно враждебную этой практике социокультурную среду»<sup>4</sup>. Слова о враждебности применительно к Франции второй половины XIX века не гипербола, так же как они не были гиперболой применительно к России начала 1990-х. Если перечитать вступительные заметки к составленным С.Л. для НЛО подборкам теоретических материалов, видно, что именно так он и оценивал ситуацию в российских гуманитарных науках (и особенно — в филологии) 1990-х годов. «...При скучности и изношенности набора категорий, принятых

2 Термин «имплантация» имеет в русском языке два значения — медицинское и материловедческое: 1) хирургическая операция по вживлению в организм чуждых ему структур и материалов; 2) способ введения посторонних атомов внутрь твердого тела путем бомбардировки его поверхности пучком ионов с высокой энергией. Для Козлова, по-видимому, важны были оба эти значения.

3 Козлов С.Л. Имплантация: очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

4 Там же. С. 11.

в нашем литературоведении, глупо было бы пренебрегать еще не использованными ресурсами привычной парадигмы», — пишет он о перспективах использования теоретических находок Майкла Риффатера, позволявших расширить представления о методологии структурализма<sup>5</sup>. «Апологетические усилия одиночек остаются неавторитетными и маргинальными», — это о тщетных попытках познакомить российских филологов с концепциями деконструктивистов<sup>6</sup>. В 1999 году, представляя читателю — в рамках раздела «Репрезентация власти» — один из первых русских переводов Карла Шмитта, Козлов будет вынужден разместить специальное предупреждение, основанное на грустных наблюдениях за изменениями общественных настроений: «К сожалению, сегодняшнее состояние умов в России таково, что и журнал, рассчитанный на высокообразованную аудиторию, должен призывать своих читателей к столь простым вещам, как интеллектуальная трезвость, ответственность и способность к различиям»<sup>7</sup>.

Задуманный С.Л. в начале 1990-х и поддержаный редакцией НЛО проект имплантации заключался в идее перенести на отечественную почву самые интересные и перспективные образцы западноевропейской и североамериканской теории (не только литературной, но и теории культуры)<sup>8</sup>. Перенос, или трансфер, как объяснял С.Л. в предисловии к «Имплантации», — это не просто импорт и даже не просто перевод, но

процесс, основанный не на пассивной, а на активной роли импортера-реципиента, сознательно выбирающего и транслирующего те или иные элементы чужой культуры... это процесс, обусловленный не пассивным претерпеванием чужого влияния, а прежде всего собственными проблемами импортера-реципиента, теми или иными особенностями импортирующей среды, которые осмысляются самой этой культурой как недостатки, нуждающиеся в преодолении и восполнении<sup>9</sup>.

С.Л. с самого начала воплощения своего проекта осознавал себя в роли активного агента имплантации. И поэтому при осуществлении своей культурной работы он будет постоянно сопровождать свои действия обоснованиями для выбора импортируемых объектов. Разъясняя, почему именно эти, а не другие заимствования сейчас необходимы, он непременно коснется и вопроса о том, какие недостатки (или дефициты) отечественной науки и интеллектуальной среды делают те или иные акты имплантации насущными. Думая об обосновании, он не потеряет из вида и другой важный аспект имплантации (или трансфера). Понимая, что бесперспективно заниматься имплантацией того,

5 Козлов С.Л. Майкл Риффатер как теоретик литературы // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 20. В № 1 НЛО С.Л. использовал написание «Риффатер», в дальнейшем в русских переводах установилась транслитерация «Риффатер», которой следую и я.

6 Козлов С.Л. Де Ман / Риффатер: полемика в контексте биографии // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 25.

7 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к блоку материалов «Репрезентация власти»] // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 36.

8 Сам этот концепт был, по-видимому, придуман и интериоризирован Козловым еще в пору его работы в НЛО. См.: «При имплантации на российскую почву практически всякий западный конструкт меняет функцию» (Козлов С.Л. Наши «новые истористы»: Заметки об одной тенденции // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 124).

9 Козлов С.Л. Имплантация. С. 16.

что будет воспринято как совершенно чуждое и враждебное, он всякий раз пытался, прежде чем производить перенос, хотя бы немного «одомашнить» переносимый объект или, во всяком случае, показать, что он не вполне чужд до машнему контексту.

Эта деятельность С.Л. для меня в каком-то смысле аналогична строительству большого моста: одна опора вслед за другой, пролет за пролетом, пока мост не наводится между двумя точками, которые нужно соединить. Сам С.Л., говоря в 2000 году об этом опыте 1990-х, воспользуется метафорой проекта «Союз — Аполлон»: «Как известно, главной проблемой тогда была проблема стыковочного узла и переходного отсека»<sup>10</sup>. В качестве потенциального собеседника и читателя Козлов представлял, по-видимому, гуманитария своего или более старшего поколения, для которого высшим достижением отечественной гуманitarной науки — и одновременно плато, на котором этот читатель-ученый предполагал продолжать экстенсивно разрабатывать новый материал, — выступала тартуско-московская структурно-семиотическая парадигма. Отсюда и нужно было строить очередной пролет или стыковочный блок.

В таком мысленном — и иногда совсем не благожелательном! — диалоге с воображаемым читателем С.Л. выстраивал свои вступительные заметки первых лет, показывая, с одной стороны, за какие элементы наследия советской семиотики можно «зацепиться», чтобы развивать научные исследования дальше, а с другой — неутомимо критикуя своих коллег за узость кругозора, консерватизм, недостаточность методологической рефлексии. Так, в самой первой заметке о Майкле Риффатере С.Л., представив своего героя и показав его типологическое родство с исследовательскими профилями Х.Р. Яусса, Умберто Эко и Ю.М. Лотмана, находит гораздо более сильную и убедительную аналогию — работы Р.О. Якобсона. Обосновав эту параллель, С.Л. заключает: «Тем самым уже ясно очерчиваются контуры научной позиции Риффатера — и становится понятна ее глубокая совместимость с русской филологией»<sup>11</sup>. Глубокая совместимость — одно из непременных условий удачной имплантации. Мост возведен, последний пролет достроен — теперь дело за теми, кому предстоит по этому мосту ездить.

Другую стратегию выбирает С.Л., представляя читателям уже в следующем номере журнала Поля де Мана. Поскольку никаких авторитетных методологических аналогов деконструкции в отечественной традиции найти нельзя, он задает неожиданную перспективу: прочитать работы Поля де Мана в свете его сложной профессиональной и личной биографии, где эпизоды семейных драм соседствуют с эпизодами коллаборационизма времен войны и с конфликтами и разобщениями послевоенной эпохи. «Главные компоненты жизненного опыта Поля де Мана: катастрофичность, маргинализованность, неразрешимое сочетание невиновности и вины, перманентная фрустрация, непреодолимое одиночество»<sup>12</sup>. Более того, С.Л. осторожно намекает, что, может быть, этот опыт не так уж чужд и непонятен для его аудитории, ведь «русскому читателю чуть легчеается осмысление подобных неожиданностей в силу богатого

10 Козлов С.Л. На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 5.

11 Козлов С.Л. Майкл Риффатер как теоретик литературы. С. 19.

12 Козлов С.Л. Де Ман / Риффатер: полемика в контексте биографии. С. 27.

исторического опыта русской интеллигенции XX века»<sup>13</sup>. В качестве ключевого текста, иллюстрирующего метод де Мана, Козлов предлагает его статью о Майкле Риффатере — неизвестное подается через уже объясненное, второй пролет строится вслед за первым.

В статье, предваряющей публикацию «Уличной парадигмы» Карло Гинзбурга, Козлов попробует смоделировать сразу несколько «стыковочных блоков». Как и в случае с Риффатером, он укажет на ближайший прецедент в истории отечественной гуманитарной науки — советского ученого, который оказал решающее влияние на формирование метода Гинзбурга. Это Владимир Пропп:

Можно сказать, что Пропп олицетворяет ту коллизию, которая оказывается одной из важнейших для исследовательского сознания Гинзбурга... Цель Гинзбурга состоит в том, чтобы интегрировать морфологический анализ в рамки исторической реконструкции, сделать изучение чисто формального сходства далеко отстоящих друг от друга феноменов — средством выявления глубоко скрытых исторических взаимосвязей, остающихся иначе недоступными<sup>14</sup>.

Далее Козлов обосновывает необходимость имплантации уличной парадигмы Гинзбурга масштабной, точной и нелицеприятной диагностикой положения постсоветских гуманитарных наук. Он утверждает, что исследовательские сообщества в России объединены идеологией гиперсциентизма, который представляет собой соединение взаимно противоречащих элементов: «абстрактного логико-лингвистического моделирования» и «частных исторических разысканий» (иными словами, одновременно действующих установок на создание больших структурированных объяснительных моделей и на позитивистское накопление фактов). Второе неосознанное противоречие, которое, по Козлову, разъедает изнутри российские гуманитарные сообщества, — это сугубо враждебное отношение к любой «иррациональности» и «художественности» при высокой художественной одаренности тех авторов, которые наиболее последовательно отстаивают идею «чистой научности», не говоря уже об эстетической привлекательности самих их концепций (Козлов приводит в пример Ю.М. Лотмана и М.Л. Гаспарова). С.Л. описывает это напряжение через бейтсоновскую концепцию *double bind* и ставит неутешительный диагноз: «...все ранее описанное ведет если не к шизофрении, то к мистифицированности, расколотости, подавленности, неадекватности исследовательского самосознания...»<sup>15</sup>

То, что может показаться в подходе Гинзбурга знакомым и близким, согласно Козлову, очень далеко отстоит от современных российских гуманитарных практик. Чтобы суметь проехать по выстроенному мосту, нужно кардинальным образом изменить сам способ исследовательской работы, сам тип мышления в науке:

У подавляющего большинства теперешних русских исследователей, работающих de facto в рамках уличной парадигмы, непременной основой и даже как бы условием такого стиля работы является предельная узость специализации и кругозора.

13 Там же. С. 26.

14 Козлов С.Л. Методологический манифест Карло Гинзбурга в трех контекстах // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 29.

15 Там же. С. 30.

Интерес к частностям коррелирует здесь с неспособностью к междисциплинарным переходам и широкомасштабным обобщениям. <...> Между тем для Гинзбурга вся ценность уликовой парадигмы в том и состоит, что предельно частное выводит не просто к другому частному, а к универсальной взаимосвязи явлений<sup>16</sup>.

В своей пессимистической диагностике С.Л. часто выходит за рамки науки в более широкую — общественную и политическую — сферу. При этом проблемы профессионального и интеллектуального самоопределения оказываются прямо сопряжены с социальным и политическим действием, фактически — чаемое самоопределение и является таким действием. Предваряя публикацию знаменитой статьи Клиффорда Гирца «Идеология как культурная система», С.Л. пишет о том, какими пагубными последствиями может обернуться нежелание современных гуманитариев иметь дело с феноменом идеологии. Заключительный абзац этой вступительной заметки читается сейчас как сбывающееся пророчество:

...отвращение к самому феномену идеологии не более оправдано, чем отвращение к каким-либо частям человеческого тела. Вопрос в конкретных формах идеологии, в противодействии их злокачественному развитию. Но для такого противодействия есть только один способ: собственная активность. Активность в изучении идеологий. Активность в выработке идеологических программ: и общенациональных, и групповых. Общенациональных — потому что, если этим не займетесь вы, за вас займутся другие. Групповых — потому что отсутствие сильной групповой идеологии блокирует профессиональную деятельность. В нынешних условиях «страх идеологии» непродуктивен. <...> Человек умственного труда сталкивается сегодня в России с более сложной задачей, чем в советское время: от него требуется не однодиапазонная, а дифференцированная активность<sup>17</sup>.

Рефлексивное, вдумчивое, контекстуализирующее усвоение лучшей западной теории XX века является для Козлова необходимой предпосылкой для преобразования не только поля гуманитарных наук, но и всей российской публичной сферы, а хорошее гуманитарное образование и широкие интересы — необходимым качеством политического аналитика (отсюда и тянется интерес к феномену интеллектуальной политической журналистики 1990-х, которой С.Л. посвятил как минимум одну статью<sup>18</sup>).

Для Козлова 1990-х и начала 2000-х политизация исследования не порок, а добродетель, и он досадует на то, что большинство его коллег по-прежнему боятся это делать. Сам он нередко предлагает смелые и в то же время политизирующие концепции явлений прошлого, которые — *mutatis mutandis* — можно было бы потом применить к анализу явлений настоящего. Наиболее характерный пример — его статья 2009 года «Сообщество высокочек» (первые подступы к будущей «Имплантации»): здесь, говоря о французских реформах высшего образования периода Второй империи, он выходит на уровень более масштабных обобщений. Ключевые вопросы статьи: как общественное устройство может блокировать инновации и как можно преодолеть эту блокировку.

16 Там же. С. 31.

17 Козлов С.Л. К преодолению одной фобии: [Вступительная заметка к рубрике «Идеология литературы»] // Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 6.

18 Козлов С.Л. Заметки о стиле Максима Соколова: На полях статьи О. Проскурина // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 305–313.

Отвечая на них, С.Л. показывает, что в этом случае для проведения реформ потребуются личные связи между администраторами разных уровней, позволяющие создать «обходные пути» для инновации. Но только этого недостаточно: Козлов обращает внимание на конstellации случайных факторов, среди которых немаловажную роль играют «сильные идеальные мотивации» лиц, ответственных за принятие решений<sup>19</sup>. Теоретическая модель «институционального шунтирования», которую Козлов здесь описал, сперва разъяснена им на позднесоветском кейсе, а затем уже применена к французской образовательной политике XIX века. Явным образом ее можно было использовать и для постсоветского контекста.

Размышления Козлова об «открытости» и «закрытости» интеллектуальных сообществ и больших обществ начались гораздо раньше — в 1990-е, в связи с осмыслением поздних (конца 1980-х годов) работ Умберто Эко и их высокого политического потенциала. Этой публикации предшествовало еще одно событие — проведенный редакцией НЛО в 1995 году круглый стол на тему «Философия и филология». Здесь лицом к лицу сошлись самые видные представители тогдашнего филологического и философского сообществ<sup>20</sup>. Круглый стол завершился выступлением А.Л. Зорина, который выразил сомнение в продуктивности механического перенесения западной теории в Россию без учета различий политических контекстов: «...импортировать западные интеллектуальные технологии в отрыве от системы общественных ценностей, их породивших, занятие, по-моему, малоперспективное»<sup>21</sup>. Гораздо более наущной, с его точки зрения, была для российских гуманитариев задача прояснения и формулировки ключевых проблем современности в связи со своим профессиональным самоопределением. Только после этого, по мнению Зорина, будет возможен продуктивный интеллектуальный трансфер: если «понять собственную судьбу, то и чужие тексты понимать будет как-то сподручнее»<sup>22</sup>.

Козлов несколько раз будет возвращаться в своих заметках второй половины 1990-х к этому выступлению Зорина, убежденно поддерживая императив «понять собственную судьбу», но не соглашаясь с идеей полной чужеродности западной теории российскому общественно-политическому и культурному контексту, который, по мнению С.Л., очень быстро начинал сближаться с общими. Один из ответов Зорину Козлов дает через год после знаменитого круглого стола, как раз в той самой заметке, посвященной Умберто Эко:

<sup>19</sup> Козлов С.Л. Сообщество высокочек: «Субъективный фактор» реформы высшего образования во Франции эпохи Второй империи // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 583–606.

<sup>20</sup> Насколько можно судить по этой публикации и общему интеллектуальному контексту середины 1990-х годов, идея редакции состояла в том, чтобы стимулировать диалог между тремя научными группами: филологами — защитниками «чистой науки» (будь то последователи московско-таргусского структурализма или историко-литературного архивного позитивизма, см. процитированный выше пассаж Козлова о «гиперсциентизме»), филологами, которые уже искали в тот момент пути, выывающие за пределы старого понимания научности, и авторами (в основном принадлежавшими к философскому цеху), пропагандировавшими в России «новую французскую теорию».

<sup>21</sup> Философия филологии: круглый стол в редакции «Нового литературного обозрения» // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 91.

<sup>22</sup> Там же.

...речь идет об использовании догоняющей цивилизацией опыта развитых обществ для обдуманного ответа на собственные проблемы, сегодняшние и завтрашние. Проблематика закрытости/открытости — это фундаментальная проблема нашего общества последних десятилетий вплоть до сего дня, и на макро-, и на микросоциальном уровне. Проблематика мультикультурализма сегодня еще может кому-то казаться экзотической, но завтра она станет нашей повседневностью. Понятие границы в связи с противопоставлением «цивилизация/варвары» слишком настоятельно присутствует в нашем злободневном обиходе<sup>23</sup>, чтобы можно было начисто освободить сознание от этих категорий при обращении к материалам более отвлеченным<sup>24</sup>.

Из этой цитаты очевидно, что для Козлова — как, вероятно, и для Эко — существовала прямая связь между консерватизмом персональным (в том числе и реализуемым в рамках собственного профессионального кредо), общественным и политическим. В каком-то отношении С.Л. был культурным консерватором: он относился с особым вниманием к тому, как работает преемственность в науке и культуре и безо всякого восторга воспринимал идею политической революции (здесь сказывался глубоко пережитый им советский опыт). Свой неослабевавший интерес к проблемам преемственности С.Л. успел реализовать в своей поздней, последних лет жизни, статье об интеллектуальной биографии Э.Р. Курциуса и в планах статей и комментариев к текстам Э. Ауэрбаха<sup>25</sup>. Но если понимать консерватизм как отказ принимать во внимание новейшие сдвиги в общественном сознании, как бы дискомфортно ни было их анализировать, то с такой установкой Козлов боролся на протяжении всей своей профессиональной жизни. Если использовать полюбившееся С.Л. и идущее от К. Поппера и У. Эко противопоставление открытости и закрытости, он был консерватором, чутко и открыто реагировавшим на современность.

Проблематика закрытости/открытости зазвучит пять лет спустя в подготовленном С.Л. разделе о наследии Ницше в современных гуманитарных науках. «Отношение к Ницше оказывается важнейшим индикатором, выявляющим главную линию разлома в современном русском филологическом сознании: это разлом на изоляционистов и сторонников открытости...»<sup>26</sup> Столь сильная интерпретация основана, по словам Козлова, на важнейшей особенности работ Ницше: вопросы, которые он задавал к филологическим исследованиям и к филологическому «цеху» своего времени, требовали — и тогда, и сегодня —

---

23 В контексте 1996 года, когда цитируемая статья готовилась к печати, эти строки читались как очевидный намек на первую чеченскую войну и общую кавказофобию российского общества.

24 Козлов С.Л. Умберто Эко в поисках границ // Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 8.

25 В 2020 году вышел первый русский перевод работы Э.Р. Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье», выполненный Дмитрием Колчигиным, — С.Л. написал к этой книге обширное предисловие. Как сообщил нам Дмитрий Колчигин, вскоре после выхода этой книги С.Л. обсуждал с ним возможность подготовки тома выбранных статей Ауэрбаха (Д. Колчигин, частное сообщение). В итоге такая книга вышла в переводе Колчигина — к сожалению, без участия Козлова — в 2022 году под названием «Историческая топология» (М.: Языки славянской культуры).

26 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к блоку материалов, посвященных книге Ф. Ницше «Рождение трагедии»] // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 20.

постоянного пересмотра оснований филологического знания, его открытия навстречу другим дисциплинам и культурным практикам.

### 3

Суровые диагнозы Козлова — обратная сторона его перфекционизма и высокой требовательности к себе. Этот перфекционизм часто заставлял коллег воспитывать в себе stoическое терпение в отношении дедлайнов. Но то, что все-таки появлялось в печати — в виде статей и заметок, журнальных подборок и составленных им книг, — задавало недостижимые горизонты: и по степени эрудиции, и по эвристическому потенциалу концепций, и по их объяснительной силе. Высокая планка требований к себе задавала и горизонты в отношении к работе коллег. В статье, посвященной «новым истористам», он подводит итоги своим просветительским усилиям начала 1990-х, констатируя: то, что он считал потенциально перспективным «стыковочным блоком», не оправдало его ожиданий: риффатеровская семиотика поэзии и деконструкция в исполнении де Мана не привлекли серьезного внимания, и «результаты обоих этих экспериментов оказались плачевными — то есть никакими»<sup>27</sup>.

К началу 2000-х годов Козлов подходит с осознанием кардинально изменившегося поля гуманитарных наук и с новой программой работ. Он лишь в небольшой части успевает реализовать ее на посту заведующего отделом теории: после того как С.Л. меняет в 2002 году свою траекторию с позиции редактора и «властителя дум» на позицию независимого исследователя, намеченные им задачи придется довершать другим (далеко не только на страницах НЛО и «Неприкосновенного запаса», но и в рамках других многочисленных публикационных проектов 2000-х, от «Критической массы» и «Отечественных записок» до «Синего дивана» и «Художественного журнала»). Программа его тем не менее до сих пор звучит очень актуально:

...на русском языке создана принципиально новая информационная среда, разрозненные деревья образовали лес, русские гуманитарии оказались в новой, гораздо более богатой и плодотворной интеллектуальной ситуации. Точнее говоря — не оказались, а лишь могут оказаться, если захотят. Чтобы возможность стала действительностью, необходимо новое усилие, новая трата сил и времени: книги переведенные должны быть прочитаны и публично обсуждены<sup>28</sup>.

Новый лес, образовавшийся из разрозненных деревьев, начинает радовать его глаз: пессимистические диагнозы сменяются умеренно оптимистическими и даже удовлетворенными оценками текущего положения. В знаменитой статье 2001 года «Наши “новые истористы”» С.Л. пытается выявить общие предпосылки и общие характеристики трех недавних публикаций — монографий А.Л. Зорина и О.А. Проскурина и статьи-манифеста А.М. Эткинда, образующих, как называл это С.Л., «новый гештальт». Все трое, по мнению Козлова, изучают литературный материал, но отказываются считать литературу самостоятельным предметом исследования, иначе говоря уходят от доминировав-

27 Козлов С.Л. Наши новые истористы. С. 5.

28 Козлов С.Л. От редактора: [Вступительная заметка к рубрике «Рецепция идей»] // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 8.

шего в 1970—1980-е годы спецификаторства<sup>29</sup> — сосредоточения прежде всего на имманентных качествах текстов при минимизации внимания к общественно-политическим и общекультурным процессам. Впрочем, как показывал Козлов, авторы тартуско-московской школы в своих наиболее новаторских работах тоже уходили от спецификаторства, которое было новаторским во времена формалистов, но к 1990-м привело к интеллектуальному изоляционизму.

Все трое авторов, как показывает Козлов, переворачивают установки западной критической теории, переключая внимание с «молчаливого большинства» — на творческую личность. Этот поворот С.Л. интерпретировал как своего рода гносеологическую реабилитацию интеллектуалов в их противостоянии агрессивной и запуганной массе — переживание этого противостояния было хорошо понятно тем, кто жил в советское время, знакомо оно и нашим современникам. Все трое обращают особое внимание на занимательность исследовательского нарратива, поскольку это один из способов вернуть отчуждающегося от истории читателя — обратно к истории.

Козлов завершает статью перефразированной и существенно измененной по смыслу цитатой из недавней (на тот момент) статьи Глеба Морева, и тут становится понятно, что его оптимистические выводы относятся не только к тем изменениям, которые произошли за 1990-е в российской гуманитарной науке, но и к тому, как эти изменения потенциально могут оказаться в общественной жизни и политике. Он говорит об ученых, которые «реализуя свои авторские (а в социальном ракурсе — властные) амбиции, стремятся к культтивированию нового публичного пространства взамен привычного советского; к реисторизации общественного сознания; к построению новой связи между обществом и литературой»<sup>30</sup>.

Спустя еще почти десять лет — в своей статье-манифесте «Осень филологии», а затем и в ответе на дискуссию по поводу этой статьи — С.Л. будет по-прежнему сохранять сдержанный оптимизм. Отвечая Борису Дубину, который и в 2011 году продолжал упрекать коллег-филологов в том, что они так и не прояснили свои «ценности» и «проблемные ситуации»<sup>31</sup>, С.Л. уверен, что все обстоит уже совсем иначе, чем в 1990-е: «...последние двадцать лет не прошли бесследно ни для кого. Социальное самосознание и социальные представления сегодняшнего русского филолога сильно отличаются от самосознания и представлений двадцатилетней давности»<sup>32</sup>. Методологически современных филологов отличают, по его мнению, «эпигонство и эклектизм», но обе эти характеристики нужно воспринимать скорее как нейтральные или даже позитивные. Эпигон означает просто «идущий вслед», а эклектика состоит в «умении выбрать из множества предзаданных подходов вариант, наиболее продуктивный в данном случае, или построить продуктивную для данного случая комбинацию из нескольких подходов»<sup>33</sup>. В нарисованной им картине нет ни прорывов, ни провалов: это нормальное, рутинное (в куновском понимании) состояние науки. Однако для авторов начала 2010-х, которых упоминает в этой статье

29 Этот термин, как напоминал Козлов, был введен Б.М. Эйхенбаумом.

30 Козлов С.Л. Наши «новые истористы»... С. 132.

31 Дубин Б.В. И снова о филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 55.

32 Козлов С.Л. Приоритеты и менталитеты // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 90.

33 Козлов С.Л. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 22.

С.Л., эта рутинна творческая и живая и ничего общего не имеющая со стремлением вернуться к методологическому изоляционизму советской эпохи.

4

В своем отношении к жизни и работе сам С.Л. был, безусловно, человеком не рутинны, а интеллектуального риска, или, как сказали бы сегодня, человеком стартапа. За его жизнь ему довелось поучаствовать как минимум в трех коллективных научно-образовательных институциях на этапе их формирования: на историко-филологическом факультете РГГУ, в журнале «НЛО» и в Школе филологии НИУ ВШЭ — и во всех трех он оставил заметный и запоминающийся след. Ему доставляло огромное удовольствие придумывать, имплементировать и заставлять работать те фрагменты институциональных конструкций (отделы журнала или отдельные курсы в рамках учебной программы), которые были ему доверены. Как только работа этих конструкций переходила в рутинную фазу, он явно терял к ней интерес.

С одним из последних (если не самым последним) проектом-стартапом С.Л. нам предстоит в самое ближайшее время познакомиться. Этот стартап не коллективный, а индивидуальный, но не менее амбициозный, чем предыдущие. Я имею в виду замысел большой интеллектуальной прозы, писать которую С.Л. начал незадолго до смерти и успел закончить несколько фрагментов и разработать планы следующих глав (см. первую публикацию текста на с. 000 этого номера). Эту прозу С.Л. посвятил осмыслинию фигуры своего деда, Артура Сергеевича Тертеряна, работавшего в 1960—1970-е годы заместителем главного редактора «Литературной газеты». Фрагменты, которые С.Л. успел завершить, читаются буквально на одном дыхании: мы видим, как тонко и неожиданно соединяются здесь Козлов-стилист, много думавший о проблемах риторики и литературной формы, Козлов — историк литературы и гуманистического знания и Козлов — оригинальный аналитик позднесоветской социальной и культурной психологии.

В сохранившемся тексте С.Л. несколько раз упоминает имена А. Кёстлера, Л.Я. Гинзбург и Чеслава Милоша как значимых для себя предшественников, работавших и с таким типом прозы и с таким типом проблематики, которую С.Л. описал как ответ на вопрос «о причинах, по которым люди добровольно отдают себя в рабство». В небольшой заметке, посвященной новейшему изданию прозы Л. Гинзбург, С.Л. писал в 2011 году:

Оказывается, что Гинзбург... подлинное свое призвание видела в создании романа в духе Пруста — романа, предлагающего сотворение особого мира. Оказывается, что на этом пути она достаточно далеко продвинулась. <...> Оказывается, что с этой точки зрения блокадная жизнь была для нее не величайшим несчастьем, а исключительным шансом, давшим ей небывалый опыт. И оказывается, что своей задачи она в конечном счете выполнить не смогла<sup>34</sup>.

Козлов, очевидно, поставил перед собой аналогичную задачу — воссоздания с мельчайшими деталями и сразу же — с рефлексией по поводу этих деталей —

---

34 Козлов С.Л. Победа и поражение Лидии Гинзбург: [О книге: Гинзбург Л.Я. Проходящие характеры. М., 2011] // Новое литературное обозрение. 2012. № 114. С. 354.

позднесоветского литературного и окололитературного мира. Взяв в качестве героя деда, он, с одной стороны, сохранил возможность автобиографической перспективы, но с другой — сразу же дал себе шанс на критическую дистанцию, иронию, недоверие. По наброскам заметно: он очень хорошо понимал, что и как будет дальше писать и получал огромное удовольствие от самого процесса письма. Познакомившись недавно с этими сохранившимися фрагментами, я не переставая думаю: как много могла быть дать современной русской литературе эта проза, если бы она была завершена! В ней уже есть богатый материал и для историков литературы: невероятно интересно наблюдать, как переплетаются в первых главах не только Л.Я. Гинзбург и Ч. Милош, но и позднесоветская проза — подцензурная и неподцензурная — от Даниила Грачина до Андрея Битова и Юрия Давыдова.

Возвращаясь к тезисам, которые С.Л. формулировал в конце 1990-х и начале 2000-х годов — о необходимости через дискуссии в гуманитарных науках менять постепенно российскую публичную сферу, — я думаю о том, что в мрачной обстановке 2023-го и начала 2024-го он вдруг увидел возможность не дать этой публичной сфере сжаться и закапсулироваться, косвенно воздействуя на нее через аналитическое повествование о конце 1960-х и 1970-х. Никакой иносказательности, по-видимому, тут не предполагалось. Просто, размышляя вместе с рассказчиком о природе советских людей, «добровольно отдавших себя в рабство», читатель должен был уже самостоятельно начать размышлять о своей современности.

## 5

С.Л. многое успел сделать для развития отечественных гуманитарных наук. Для многих моих ровесников, начинавших свой путь в науке в 1990-е — и тех, кому довелось учиться у С.Л. в МГУ и РГГУ, и у тех, кто не знал его лично, — уже невозможно себе представить, какими бы мы сформировались, если бы в свое время не имели возможности прочитать то, что писал и готовил к печати С.Л.

Оценить масштаб и значение его работы со временем будет в каких-то отношениях легче: мы наконец догоним его в понимании незаполненных теоретических лакун и несформировавшихся интеллектуальных навыков — но в каких-то отношениях и труднее — те контексты, в которых рождались замыслы 1990-х — начала 2000-х годов, для нынешнего молодого поколения нуждаются уже в специальных пояснениях. И тем не менее многое из начатого С.Л. имеет смысл развивать и продолжать и сегодня, и завтра. Нужно только набраться решимости. Исторический оптимизм, как показала работа С.Л.К. в 1990-е, иногда приходит уже в процессе работы, а иногда — и много лет спустя после ее окончания.